

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ПИЛИГРИМЫ

*(К 75-летию со дня рождения Н. М. Рубцова
и к 15-летию со дня смерти И. А. Бродского)*

I

На рубеже 50–60-х годов прошлого века в Ленинграде встретились два молодых поэта, известные всего лишь узкому кругу своих друзей и поклонников. Оба они с разницей в несколько лет написали по стихотворению, каждое из которых постепенно становилось знаменитым и делало “широко известными в узких кругах” своих создателей.

Оба стихотворения быстро обрели в читательском мире самостоятельную жизнь, а за полвека стали символами двух глубоких мировоззрений и очертили два пути, по которым до сих пор шествуют и человеческие толпы, и люди-одиночки.

Имена этих поэтов-провидцев сейчас известны всем – это Иосиф Бродский со стихотворением “Пилигримы” и Николай Рубцов, сочинившие стихи о пилигримах, бредущих по земным дорогам.

Впрочем, сам образ дороги традиционен для русской поэзии, если вспомнить о том, что “не одна во поле дороженька пролежала”, или пушкинские “Дорожные жалобы”, или “Выхожу один я на дорогу”... Да и вся русская поэзия пронизана некрасовскими, тютчевскими, блоковскими, есенинскими дорогами... И вообще в русском сознании слово “дорога” означает слово “судьба”. И в стихотворениях Бродского и Рубцова присутствует редкое слово “пилигрим”. Я уверен, что, живя в одни и те же годы в Ленинграде, они встречались в узкой ленинградской богеме, где рядом с ними были Евгений Рейн и Глеб Горбовский, Виктор Соснора и Борис Тайгин, Константин Кузьминский и Леонид Агеев, Нина Королева и Анатолий Найман, Лидия Гладкая и Эдуард Шнейдерман.

Все они дышали одним воздухом, но Рубцов и Бродский дышали им глубже других. И по мнению Евгения Рейна, опубликовавшего в “Литгазете” (№ 20, 2010) к 70-летию Бродского одну из самых точных и честных статей о его судьбе, настоящая слава к поэту пришла сразу после “Пилигримов”.

Я помню, как однажды в 1960 году меня навестили муж и жена, составители книги словацкого поэта Ладо Новомесского, принесли подстрочники для перевода, мы засиделись, выпили по рюмке, и слависты под гитару с яростным вдохновением исполняли “Пилигримов” Бродского. Я был поражен мрач-

ной энергией и музыки, и самого стихотворения, которое, как мне показалось, тогда уже стало чуть ли не гимном для небольшой, но пассионарной части “оттепельной” интеллигенции, восхищённой судьбой героев стихотворения.

Впоследствии я понял, что гимна из этого стихотворения не получилось, в основу гимна легло более понятное для либеральных масс рифмованное сочинение Булата Окуджавы “Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке”.

Пилигримы

*Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигримов.*

В. Шекспир

*Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды встают над ними
и хрипло кричат им птицы,
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но всё-таки бесконечным.
И значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землёй закатам,
и быть над землёй рассветам.
Удобрить её солдатам,
одобрить её поэтам.*

Поистине в большом познании много скорби. И если вспомнить, что стихотворение написано восемнадцатилетним человеком, то неизбежно придёшь к выводу, что Иосиф Бродский никогда и не был молодым поэтом, он как будто бы и родился или стариком, или вообще существом без возраста.

Пилигримы Бродского из последних сил бредут в неведомую даль, как дети несовершенной и враждебной им цивилизации, созданной их же руками, как вереница искалеченных и обездоленных её детей, вернее, изгоев человеческого гетто. “Увечные”, “горбатые”, “полуодетые”, “голодные”, “палимые синим солнцем”. Так и хочется спросить: “Сколько их? Куда их гонит?”

Их дорога в “никуда” или неизвестно куда оглашается хриплыми криками то ли древнерусских ворон, то ли древнегреческих гарпий, внушающими странникам, что мир жесток и “лжив”, что он “останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным”, то есть несправедливым и немилосердным, что он не изменяется так, как им этого бы

хотелось. А от сознания этой несправедливости лишь один шаг к отрицанию Бога и человека, как его подобия.

“И значит, не будет толка от веры в себя и в Бога”...

А что же остаётся? Брести подобно зомбированному неведомой волей стаду к неведомой цели, подчиняясь фатуму, слепому инстинкту, подобному тому, который гонит рыбы стада на смертельный и неизбежный нерест и полчища крыс, повинующихся дудочке могущественного и лукавого крысолова.

В какое время и по какой земле движутся пилигримы, словно колонна военнопленных, без охраны, сдавшихся врагу добровольно — это не имеет значения. Словно послушные овцы, бредут они по организованным и расчерченным дорогам цивилизационного, рукотворного ада, созданного, видимо, их же руками. Разве что одна конкретно-историческая примета есть в стихотворении: они бредут “мимо Мекки и Рима”, то есть две самых великих мировых религии чужды этим избранным толпам.

Вечные протестанты, потомки Агасфера, закосневшие в своей отверженности и своей гордыне... И Бог их не слышит, и солнце их жжёт, и птицы над их шествием “хрипло кричат” что-то погребальное, и с каждым шагом остаётся всё меньше и меньше от великой иллюзии, которая дала пилигримам толчок много веков тому назад — для начала этого рокового, но безблагодатного шествия.

Вот каким апокалиптическим откровением — апофеозом похода пилигримов была поражена душа молодого Бродского, и этот ожог души остался у него на всю жизнь.

Иллюзия цели. Иллюзия жизни. Иллюзия спасения. Но утрата иллюзий не проходит бесследно. Лучше и точнее всех угадал драму Бродского один из самых близких его друзей Евгений Рейн, пронзительно заметив, что “пилигримы” были важнейшей точкой в мировоззренческом становлении Бродского. Рейн нащупал все дальнейшие нити, протянувшиеся от этого старта: “Описываемый им мир — это мир сумеречный, пессимистический, не оставляющий никакой надежды”; “Бродский становится мизантропическим и как бы одноцветным поэтом, каким мы его знаем”; “Шутки довольно саркастичны и злы, и никакого просвета в этих стихах нет”; “Негативный философский взгляд, сопряжённый гениально отточенной метафорикой”; “Видимо, в нем был и момент моральной опустошённости”; “Именно это нагромождение изысканных темнот...”. И это при всей любви к своему младшему брату и ученику... Ну как тут не вспомнить мысль нелюбимого зрелым Бродским Александра Блока: “Оптимизм, как и пессимизм — признак плоского и пошлого мировоззрения. Только понимание жизни как трагедии даёт цельную картину мира”.

Самые сильные из “пилигримов” неизбежно скатываются к богоборчеству. И не случайно я вспомнил, что у меня на полках где-то стоит книга Хаима Нахмана Бялика, которого отцы-основатели сионизма считали великим поэтом. Книга эта издана в 1914 году в переводах и предисловии Зеева Жаботинского.

В ней всё как по заказу — и предисловие, и стихи, и поэмы — о “пилигримах”. “Всё, что есть роскошь жизни, было изгнано из национального обихода: изгнана любовь, изгнана радость, изгнано творчество, изгнано всё то красивое, сверкающее, полнокровное, что Бялик объединяет в символе женщины, женского начала. Жизнь стала подобна пустынному каменистому острову. Только этой ценой мог безземельный бродяга сохранить остаток того, что есть высшее сокровище каждого племени — остаток своей самобытной личности, последнюю прядь от догоревшей “гривы Огненного Льва”. За стенами гетто, у чужих людей, искрилась и переливалась всеми красками Божией палитры свободная полнота жизни, — для узников пустынного острова порыв навстречу этой жизни означал бы исчезновение вечного народа “в волнах реки Аввадон, чьё имя — Гибель”. И вот на почве этой двадцативековой борьбы между радостью бытия и суровой миссией самосохранения, между Аввадоном и Небом, развивается у Бялика великая трагедия современного еврейства — нецельность, двойственность, сумеречная шаткость и зыбкость еврейской души” (Жаботинский).

Хаим Нахман Бялик, выходец из местечковой России, в начале XX века уехал в Палестину, в 30-е годы он восторгался расовой теорией Гитлера и Розенберга и сочинял стихи и поэмы, ставшие классикой еврейской поэзии.

Одна из сцен поэмы Бялика “Мертвецы пустыни” рассказывает о том, как проводник-араб путешествует с героем поэмы по Синайской пустыне и при-

водит его в места древнего захоронения, где, полузасыпанные песками Синая, лежат громадные остовы падших ангелов-пилигримов, которые, согласно “Книге Бытия”, в доисторические времена “входили к жёнам человеческим”. Так Хаим Нахман Бялик, тоже путешествовавший “мимо роскошных кладбищ”, нашёл самое древнее из них.

*То не косматые львы собралися на вече пустыни,
То не останки дубов, погибших в расцвете гордыни, —
В зное, что солнце струит на простор золотисто-песчаный,
В гордом покое, давно, спят у тёмных шатров великаны.*

.....
*Стёр ураган их шаги, потрясавшие землю когда-то,
Степь затаила дыхание, и скрыла, и нет им возврата.
Может быть, некогда в прах иссушат их ветры востока,
С запада буря придёт, и умчит его пылью далеко,
До городов, до людей донесёт и постелет, развеяв, —
Там первозданную силу растопчут подошвы пигмеев,
Вылижет прах бездыханного льва живая собака,
И от угасших гигантов не станет ни звука, ни знака...*

Да и сам Иосиф Бродский упокоился тоже как знатный пилигрим нового времени на одном из самых “шикарных кладбищ” мира – в Венеции, в сказочном городе, где жил еврейский ростовщик Шейлок и где рождались в средневековой Европе “ристалища”, “капища”, и “бары”, и “банки”, и “большие базары”. Мимо которых несколько веков спустя, как вечные тени легендарного Агасфера, проходили пилигримы Иосифа Бродского. . .

Но пилигримы Бродского могут иметь не только метафизическую сущность, как некое агасферово братство, но и вполне реальные исторические очертания. Их можно себе представить, как ополчение, бредущее под руководством монашеско-рыцарских орденов – тамплиерского, францисканского, бенедиктинского – на заре раннего средневековья для “освобождения гроба Господня от неверных”, а заодно и для завоевания земель и богатств Ближнего Востока. . . Первые крестовые походы, первая попытка фанатичной европейской черни покорить племена и народы Третьего мира.

Озлобленные на судьбу “протестанты” всех времён и народов, они могут принимать обличье европейского пуританского спецназа, предавшего огню и мечу цветущий животный, растительный и людской мир Северной Америки; они могут воплощаться в испанских конквистадоров, разрушивших до основания несколько естественных в своём величии земных цивилизаций; они похожи на солдат чёрного интернационала иностранных легионов, державших в рабстве тех африканцев, которым удалось спастись в своих джунглях от североамериканских работоговцев.

Помните гимн этих пилигримов: “День-ночь, день-ночь, мы идём по Африке, день-ночь, день-ночь, всё по той же Африке, и только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату”. . . Но это не просто солдаты. Это хорошо обученные наёмники.

Пилигримы Бродского не имеют отечества; они не знают, что такое вечность потому, что находятся в плену у времени; они, пожиратели пространства, всё время в походе, а это значит, что явления и картины жизни, сквозь которую они проходят – остаются для них чужими и непознанными. У них нет ничего кровного, родного. Это механические супермены цивилизации. Они не молят Бога о милости, но требуют поддержки от него, торгуются с ним (“а значит, не будет толку от веры в себя и в Бога”), не понимая того, что, как сказал один мудрец, “с Богом в карты не играют”.

Где только не побывал за свою короткую жизнь пилигрим Иосиф Бродский: в Англии, в Мексике, в Скандинавии, в Испании, в Голландии, в Капандоккии, в Ирландии, в Прибалтике, в Италии, в Америке. . . И, конечно же, в Венеции. И везде отмечился громадными полотнами однообразных, но блистательно зарифмованных скептических впечатлений!

II

Старая дорога

*Всё облака над ней,
Всё облака...
В тени веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им июньские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам — качаются ромашки,
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса...
Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые
Вечности глаза!*

*То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюбимый филин-властелин.
То по холмам, как три богатыря,
Ещё порой проскачут верховые,
И снова — глушь, забывчивость, заря.
Всё пыль, да пыль, да знаки верстовые...*

*Здесь каждый славен —
Мёртвый и живой!
И оттого, в любви своей не каюсь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой.
Перекликаясь с теми, кто прошёл,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошёл,
И больше ничего не происходит.
Но этот дух пройдёт через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака...*

Где и когда написал Николай Рубцов это стихотворение? Попытаюсь пред-
ставить. . .

Юный нестеровский отрок вышел с берега Сухоны на старую дорогу через
Усть-Толшму до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками,
по влажным, наполненным тёмной водой глубоким колеям от когда-то буксо-
вавших здесь телег и машин. Мимо брошенных починков, почерневших
прошлогодных зародов, серебристых от старости столбов телеграфных.
Сколько раз, пока дойдёшь до Николы, присядешь то у брошенного овина,
то на лесной земляничной опушке, то возле древнего погоста, то у кустов ди-
кой малины. Я представляю его себе усталого, в промокшей обуви, с фиб-
ровым чемоданчиком, где немудреное бельишко, да сборник Тютчева, да во-
рох черновиков. Он бредёт, покачиваясь от усталости, а вокруг “зной звенит
во все свои звонки”, но зато вглубь зовут “росистые леса”, качаются белые
ромашки, и, куда ни глянь, всё трогает и волнует душу — и “филин-власте-
лин”, и верховые, “как три богатыря”, проскакавшие куда-то к дальней кром-
ке горизонта, и тишина.

Здесь каждый славен — мёртвый и живой!..

Редко-редко бывает, если какой-то грузовик догонит студента-пилигрима, шофер высунется из кабины и спросит: “Далеко ли идёшь?”

*Я шёл, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты? — В деревню Предтеча.
— Откуда? — из Тотьмы самой.*

Он садится в кабину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая взглянуться в небо, надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зелёному простору.

А потому, не доезжая несколько вёрст до родного села, просит шофёра притормозить и выходит из кабины.

*И где-то в зверином поле
Сошёл и пошёл пешком.*

В отличие от пилигримов Бродского, идущих сквозь безымянные, безвременные и безнациональные пространства, пилигримы Рубцова бредут по русскому, российскому, хотя и запущенному саду с радостной душой, сквозь лесные и травяные райские кущи, в которых нет ни “баров”, ни “больших базаров”, разве что мелькнут руины архаического быта — “полусгнивший овин” да “хуторок с позеленевшей крышей”, да — “знаки верстовые” попадаютс одне, поставленные, может быть, во времена Разина и Пугачёва. Пилигримы Бродского проходят мимо “роскошных” ухоженных и архитектурно выстроенных мемориалов Западного мира, пилигримы Рубцова — мимо безымянных, уходящих в землю могил (“каждому памятник — крест”), о которых со смирением можно сказать лишь одно: “Здесь каждый славен — мёртвый и живой”, то есть повторить другими словами извечную истину: “для Бога мёртвых нет”.

Да и сам пилигрим Николай Рубцов, всю жизнь бродивший по русскому православному белому свету, вернулся на своё вологодское кладбище, отнюдь не “шикарное”, что явствует из стихотворения Анатолия Передреева, посетившего в 70-х годах могилу своего друга:

*Лишь здесь порой,
Как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому,
Что он при жизни
О мёртвых помнил, как никто другой!*

*И разойдутся тихо,
Сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся
Мёртвые венки...*

*Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни...
Осенний ветер...
Опадает строчка:
— Россия, Русь, храни себя, храни...*

...А ведь некогда обе эти дороги вышли из одной точки Бытия, но, потянувшись по историческому пространству к горизонту, с каждым витком всё круче и круче расходились друг от друга...

Народы, как сказал один православный мудрец, “суть мысли Божии”. Две дороги, избранные двумя великими народами, воплотились в две Божьи мысли, тайну которых можно будет разгадать лишь в последние времена.

Пилигримы Николая Рубцова — это калики перехожие, облик которых запечатлён в русских былинах и народных песнях... Это люди святой Руси, персонажи не от мира сего, бредущие отмаливать грехи и свои и своего народа в Киевскую Софию, в Оптиную пустынь, в Дивеево к Серафиму Саровскому, а кто и на Святую Землю.

Это некрасовский Кудеяр, ставший молитвенником и строителем Божьих храмов, это очарованный странник Лескова, это князь Мышкин Достоевского и Касьян из Красивой Мечи Тургенева, это босяки Горького и чеховские герои из повести “Степь”, и богомольцы из стихов и поэм Сергея Есенина, это семейство Аввакума, бредущего в ссылку.

Это люди не времени, а вечности, о которых с такой проникновенной силой написал Алексей Константинович Толстой в одном из лучших своих творений:

*Благословляю вас, леса,
долины, реки, горы, воды,
благословляю я свободу
и голубые небеса,
и посох свой благословляю,
и эту нищую суму,
и степь от края и до края,
и солнца свет, и ночи тьму.
.....
и в поле каждую былинку,
и в небе каждую звезду...*

Такая вселенская широта души непонятна и не нужна пилигримам Бродского.

III

С будущим нобелевским лауреатом я познакомился через несколько лет после знакомства с Рубцовым в середине 60-х годов прошлого века, когда в редакцию журнала “Знамя” зашёл рыжеволосый молодой человек, откомендовался и пожаловался на гонения, которым он подвергается в родном городе, и попросил меня прочесть его стихи.

Собственно, это были не стихи, а длинная поэма... Я прочитал её при авторе, поскольку он торопился с отъездом, и сказал ему, что как версификатор он весьма поднаторел в сочинении стихов, но поэма явно несамостоятельна, поскольку написана под сильным влиянием Пастернака и Цветаевой, и посоветовал ему никогда не публиковать её.

Но одновременно мне стало жалко его, почти юношу, за все наветы, вылитые на него ленинградской прессой. А обвинения в “тунеядстве” вообще возмутили меня, поскольку я незадолго до того получил письмо из деревни Никола Вологодской области, где Коля Рубцов тоже жаловался на своих деревенских земляков:

“Я проклинаю этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить”.

Чтобы хоть как-то утешить нервного рыжеволосого юношу, я подарил ему свою книжку “Метель заходит в город” с какой-то душевной надписью, которую забыл (как забыл и сам факт дарения книги), о чём при случайных обстоятельствах вспомнил лет через сорок после этой встречи и лет через десять после его смерти.

Первоначально я хотел назвать эту книгу “Очарованный странник” и открыть её следующим стихотворением.

Дальний Восток

*Самолёт пожирает пространство...
Час. Другой. Не видать ни зги,
ни деревни, ни государства,
ни огня — бесконечное царство
бездорожья, тайги и пурги.*

*Вы, романтики и мореманы,
алкоголики в якорях,
добровольцы и графоманы,
комсомольцы и капитаны,
вам просторно в этих краях.*

*Места хватает — а это значит,
можно шастать туда-сюда,
кочевать, корчевать, рыбачить
и судьбу свою переиначить,
если есть такая нужда.*

*Не хватает нам постоянства,
потому что вёрсты летят,
непрожёванные пространства,
самоедство и святотатство
у России в горле сидят.*

*А когда эта жажда охватит —
до свиданья, родной порог!
Мне хватило, и сыну хватит,
и его когда-то окатит
околесица русских дорог.*

Но сей замысел по разным причинам не осуществился.

А в начале 90-х годов прошлого века у меня случилась короткая переписка с Бродским, тогда уже жившим в Америке. Дело в том, что в 60-е годы в Москве жил незаурядный юноша по имени Сергей Чудаков. Сын крупного энкавэдэшного начальника, родившийся и выросший чуть ли не в Магадане, он сразу же при первом знакомстве заинтересовал нас (меня, Передреева, Кожина) многими своими свойствами: несомненной талантливостью, литературным вкусом, знанием русской поэзии, плебейским эстетством, порочным обаянием и даже некоей артистической растленностью. Словом, он был своеобразной русской ипостасью то ли Дориана Грея, то ли одного из братьев Карамазовых.

Кроме Иосифа Бродского с ним были в близких отношениях два Олега — Олег Осетинский и Олег Михайлов, которые до сих пор считают Чудакова одним из талантливейших поэтов своего поколения.

Этот русский вундеркинд и у меня также вызывал острое любопытство, хотя стихи, которыми он баловался, иногда удивляли свободой, высокомерием и восхитительным цинизмом.

*Ипполит, в твоём имени камень и конь.
Ты возжёт в чреве Феды, как жжёнку, огонь.
И погиб, словно пьяный, свалившийся в лифт,
Персонаж неолита, жокей Ипполит.*

*Колесницы пошли на последний заезд.
Зевс не выдаст, товарищ Буденный не съест.
Только женщина сжала программку в руке,
Чуть качнула ногою в прозрачном чулке.*

*Ипполит, мы идём на смертельный виток!
Лязг тюремных дверей и сверканье винтовок.*

*Автогонщик взрывается: кончен вираж.
Всё дальнейшее — недостоверность. Мираж.*

*“Я люблю тебя, мальчик, — сказала она,
Вожделем к мёртвому вся сожжена, —
Мне осталось напиться в ресторане “Бега”,
Мне осталась Россия, печаль и снега”.*

В 60-е годы мы встречались часто, но потом мой интерес к нему пропал, и мы могли не встречаться годами. Однако я почему-то до конца не выпускал из памяти его джеклондоновское лицо, скуластое, белозубое, большеглазое, обрамлённое крупными кольцами каштановых волос, и жалел о его не осуществившейся литературной судьбе.

Иногда до меня доходили слухи, что его то ли судили, то ли собираются судить за тунеядство, или за порнографические фильмы, или даже за сутенёрство. Но мне уже было не до Чудакова. Времена на дворе наступили грозные.

Однако вдруг в конце 1992 года в разгар государственной, бытовой и духовной разрухи я получил от него отчаянное письмо из Чеховского района Московской области, из селения Троицкое-Антропово, из психбольницы № 5, в котором он просил меня либо вызволить его из дурдома (куда он попал как душевнобольной, вместо того чтобы загреметь в лагерь), либо прислать ему немного денег на продукты, потому что кормят в психушке впроголодь.

А ещё в конверте лежало письмо для Бродского с просьбой узнать американский адрес последнего и отослать письмо в Америку. У Бродского Чудаков также просил денежного вспомоществования.

Я выполнил все его просьбы, послал ему денег, свежие журналы и свою новую книжку “Высшая воля” — стихи о смутном времени. В ответ весной 1993 года, когда начиналось роковое противостояние ельцинского окружения с российским парламентом, я получил от Чудакова очередное послание, которое, в отличие от других, случайно сохранилось в моём архиве.

“Дорогой Стасик!

*Восхищён книгой. Подробности в личном разговоре. Тираж в 5 тысяч оскорбительно мал. Я же писал тебе, что продаю квартиру за 40 тысяч долларов, это будет в апреле, я выписан, дело утверждается в суде. На Пасху мы похристосуемся. Так вот тебе пасхальный подарок: я выпущу книгу вторым изданием (надеюсь с дополнением) тиражом тысяч в 30 и обязуюсь всё распространить. Надеюсь ещё и прибыль получить. Пары тысяч долларов на это хватит. Но важно не это. Важно выиграть выборы. Я надеюсь быть одним из анонимных, но деятельных членов твоей избирательной команды. Когда бы ни состоялась голосование — осенью или зимой — победа русского крыла неизбежна. Я надеюсь, ты возьмёшь на себя ответственность быть членом учредительного собрания, сделать это надо в том же округе, что и в прошлый раз. Время только отметит (или высветит) твою правоту. Я беру на себя всё, что связано с TV (уже продумал, как это сделать в коротких роликах). Ну желаю тебе новых стихов. Прошу сообщить мне адреса, по которым ты отправил мои письма в Нью-Йорк Бродскому и в “Русскую мысль”. Олегу (Михайлову. — **Ст. К.**) привет. Я готов прийти ему на помощь — дать новые темы, женить в третий раз, благословить на рождение наследника (мальчика). В заключение прошу прислать твой журнал № 1–3 за 93 г. и, если можно, любые свежие номера “Литературного обозрения”, “Лит. учёбы” и “Вопросов литературы”. Я занят только немецким, читать нечего, кроме Евангелия.*

Поклон. Сергей Чудаков”.

Наш инфант террибль завёл речь о выборах в Российский парламент, поскольку вспомнил, что в 1990 году я баллотировался в Верховный Совет РСФСР по Дзержинскому округу Москвы и занял второе место из 15, даже опередив таких известных людей, как генеральный прокурор России Трубин или всемирно знаменитый художник Илья Глазунов. На следующий тур голосования нас осталось двое — я и известный демократ, ученик и поклонник Сахарова Михаил Астафьев, который, конечно же, победил меня в либерально-демократической Москве... С той поры я оставил всякую мысль заниматься прямой политической деятельностью и печально улыбнулся, прочитав послание Чудакова... Особенно то место, где он писал, что “победа русского кры-

ла неизбежна”. Письмо Чудакова, написанное Бродскому, я, конечно же, отослал и вскоре получил от Иосифа ответ, в котором он сообщил мне, что послал денжат Серёже Чудакову, а заодно вежливо отказался от моего предложения напечататься в журнале “Наш современник”, наверное потому, что смешно и не умно было космополиту Иосифу сотрудничать с русским националистическим журналом. Хотя его стихи, “наиболее русские”, написанные в архангельской ссылке, я готов был напечатать безо всяких сомнений.

Письмо Бродского я, к сожалению, по своей безалаберности потерял, о чём до сих пор жалею, потому что оно было документальным свидетельством наших если и не дружеских, но отнюдь не враждебных отношений.

А вскоре пред моими очами возник выпущенный из дурдома несчастный Чудаков, которого я узнал не сразу: его кудлатая крупная голова сжалась, лицо стало похоже на печёное яблоко, руки тряслись. И ни о каких выборах русских патриотов в Учредительное собрание он и не вспоминал... Куда он исчез из нашей жизни и где похоронен – неизвестно, просто пропал без вести, как сотни тысяч людей в ельцинскую эпоху.

Последний, кто поддерживал какую-то связь с ним, был Олег Осетинский.

– Мы часто звонили друг другу, иногда встречались, – рассказывал Олег мне. – Я узнал, что после смерти матери он сдал часть своей огромной квартиры каким-то азербайджанцам. А я на несколько месяцев уехал в Америку зарабатывать деньги. Когда же вернулся и позвонил ему, то голос с восточным акцентом ответил мне, что Чудаков продал эту квартиру им, и где он сейчас обитает – неизвестно... С тех пор прошло несколько лет. Был бы жив – объявился бы. Конечно, они его в асфальт закатали...

Это было не первое известие о смерти Сергея Чудакова. Ещё раньше распространился слух о его переходе в иной мир, слух, который достиг Бродского в “американском далеке”... Бродский отозвался тогда на это печальное известие любопытным стихотворением “На смерть друга”, где Чудаков – тот же пилигрим, нашедший наконец своё последнее упокоение.

*...да лежится тебе, как в большом оренбургском
платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу
и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего
Рима.*

*Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей
не надо,
вниз по тёмной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застёжки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку
протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.*

И, конечно, весьма странно, а может быть, и поучительно, что в тот исторический момент судьба на мгновение соединила трёх совершенно разных персонажей – еврейского юношу Бродского, ставшего впоследствии знаменитым космополитическим поэтом, сына энкаведешника Сергея Чудакова, анархиста и эстета, ставшего в психушке крутым русским националистом, и Станислава Куняева, который попытался понять и Чудакова, и Бродского.

* * *

Следующее виртуальное свидание с Бродским у меня произошло зимой 2006 года, когда я приехал в Питер и остановился в гостинице для паломников в Александро-Невской лавре, где мне вручили литературную премию име-

ни Николая Рубцова. В скромном зале при лавре собрались друзья и поклонники поэта, пришла и дочка Рубцова Лена, которой я тут же передал денежную часть рубцовской премии.

А на другой день мы поехали в Ленинградский университет, посмотреть на недавно поставленный в его дворе памятник лауреату Нобелевской премии.

Николаю Рубцову, несмотря на то, что он жил в Питере, работал на Кировском заводе, посещал литературное объединение при заводской многотиражке, никакого памятника в Питере нет... Впрочем, он ему и не нужен. С него хватит памятника в Тотье на берегу Сухоны, памятника в Вологде на Набережном бульваре, надгробия на вологодском кладбище с барельефом, на котором выложены знаменитые, ставшие чуть ли не поговоркой, слова “Россия, Русь! Храни себя, храни!”

А здесь в каменном каре Двенадцати петровских коллегий собралась другая компания скульптур, в которой ему не было бы места.

Монумент Андрею Сахарову со связанными за спиной руками, сваренный из металлических полос и прутьев, не памятник, а скелет из ржавой арматуры, как будто трижды Герой Социалистического Труда прошёл через Освенцим. Слава Богу, что Елена Боннер не видела этот ржавый скелет своего знаменитого супруга... Памятник поручику Кижэ – железная связка всяческих ржавых обрезков; памятник молодой ведьме, летящей то ли на бревне, то ли на помеле, с сигаретой в руке, с задницей, блестящей от прикосновения студенческих рук.

Ещё несколько уродцев, облик которых я не захотел рассматривать, а имею на их разгадывать... Одно слово – пилигримы из стихотворения Бродского. И наконец мои спутники подвели меня к какой-то нескладной конструкции: “А вот это, Станислав Юрьевич, Ваш знакомый, великий поэт!”

... На уровне моего пояса на асфальте на попу стоял небольшой чемоданчик, грубо сваренный из толстых листов ржавого железа. На торце чемоданчика лежал каким-то образом прикрепленный к нему плоский необработанный камень, а к камню была прикреплена голова то ли из чёрного кокса, то ли из какого-то металла, вся в рытвинах, в оспинах, в коросте; лицо этой головы было запрокинуто к небу, и его украшала счастливая и, несомненно, дебильная улыбка. Глаза на лице были полузакрыты. А сама голова стояла на камне, словно отрубленная... Словом – карикатура. Отвратительнее этого памятника (если суммировать впечатление от него) я видел только две скульптуры: бюст Осипу Мандельштаму в Москве и памятник Чехову в Томске...

Я по-гамлетовски погладил ладонью скульптуру по шершавой, чуть ли не золотушной голове. “Бедный Иосик... что они с тобой сделали! Похоронили тебя на шикарном кладбище, на которое ты, будучи в сословии честных пилигримов, глядел с угрюмой неприязнью... Но этого мало. Вместо того чтобы изваять тебя в человеческом образе, как изваяли Николая Рубцова на его родине, тебе поставили не памятник, а какую-то бесчеловечную карикатуру. Если вспомнить твои строчки: “На Васильевский остров я приду умирать” – ты был достоин лучшего изваяния...”

... Когда я уезжал в Москву, то Володя Бондаренко сказал мне: “Ты зайди на Фонтанку в музей Ахматовой, в нём есть экспозиция “Американского кабинета Иосифа Бродского”. На выставке лежит твоя книжечка “Метель заходит в город” с твоим автографом”. “Ты прочитал его? – спросил я Володю. – Интересно, что я написал Иосифу почти полвека тому назад!” – “Нет, не прочитал, книжка была под стеклом в стеллаже, запёртом на замок...”

... Мы вскочили в машину и помчались на Фонтанку. Но опоздали. Музей уже был закрыт, и охрана, конечно, не пустила нас в залы, а вечером уезжал.

Однако я взял у охранника телефон музейной сотрудницы Нины Ивановны Поповой и, возвратившись в Москву, позвонил ей:

– Нина Ивановна! Прошу Вас, возьмите из экспозиции книжек, которые у Бродского были в Америке, мою книжечку “Метель заходит в город” и прочитайте, пожалуйста, какие слова я написал ему на память почти полвека тому назад...

Через минуту приятный женский голос ответил мне:

– Слушаете? Я читаю Вам Вашу дарственную надпись Иосифу Александровичу:

“Иосифу Бродскому с нежностью и отчаяньем, что эта книга будет совершенно чужда ему”.

Я уже тогда понимал, что моя книжечка о России (странно, что он сохранил её для себя) будет чуждой ему так же, как мне со временем стали совершенно чужды его знаменитые "Пилигримы". Странно, что я до сих пор помню их.

